

Андрей Демкин
www.town812.ru

Рассказ «Васька»

Васька жил на первом этаже клиники госпитальной хирургии, что на Боткинской улице, той самой, что была основана знаменитым хирургом Пироговым еще в 1841 году. В память об основателе клиники на втором этаже имелась его крашенная в яркую бронзу гипсовая статуя, а за спиной статуи, в аудитории с легким ажурным амфитеатром скамей, на стене висели настоящие литографические камни, на которых были гравированы изображения из анатомического атласа, составленного Пироговым.

Впрочем, в аудиторию Васька заходил редко, хотя в нее прямо из курсантского гардероба на первом этаже вела отдельная лестница. Но, в самом деле, что может быть интересно коту в холодной с метлахской плиткой на полу и железными переплетами скамеек аудитории? Да, Васька был именно котом. Обычным, впрочем, немного крупнее обычного, рыжим полосатым котом с разорванным в какой-то битве левым ухом. Первый этаж и подвал клиники для Васьки были намного интереснее. Вероятно, еще и потому, что контракт, безмолвно заключенный между начальником клиники и Васькой, содержал пункт о том, что Ваське позволялось отлавливать серых хвостатых зверьков в подвале и, вдобавок, иметь гарантированную плошку остатков еды из кухни на первом этаже. Ваське запрещалось показываться на людях в дневное время и строго-настрого воспрещалось, даже ночью, подниматься на второй этаж клиники. Новый начальник принял Ваську вместе с клиникой от предыдущего начальника. А тот и сам уже не мог сказать, когда именно здесь появился кот.

Васька иногда мог поиграть с очередным солдатиком из бывших больных, оставленным в клинике в добровольное “рабство”, что всяко было для солдатика приятнее, чем несение повседневной службы в части. Солдатику позволялось аккуратно почесывать Ваську между ушей и, если настроение у кота было благодушным, то и по спинке носа, которым Васька поддевал солдатскую руку, требуя продолжения ласки. Кое-кто мог попытаться быть фамильярным с ним и пытаться, следуя словам известной песни, запустить руку куда не следовало, например, в “меховой живот”. Но Васька никогда не царапал и не кусал обидчиков. Он, вырываясь из плена, смотрел на солдатика долгим и протяжным взглядом и уходил. Больше к нему он никогда не подходил, и солдат вынужден был нести свою ночную службу, не скрашенную тихим раскатистым мурчанием кота. Впрочем, все знали, что кот фамильярности не выносит, и старались быть с ним настолько уважительно на равных, насколько это может быть в отношениях человека с котом.

Однажды, после ночной вахты, у одного из новых солдатиков под глазом было обнаружено изрядное красное пятно, вскоре зацветшее всеми положенными цветами “синяка”. Вначале все подумали о том, что ночью “молодого” пытались поучить солдатики - “старожилы” клиники, но оперативно проведенное расследование показало, что они были не причем. Что, впрочем, было и не удивительно – кто же хотел нарушать дисциплину, чтобы досрочно вернуться из госпитального “курорта” в свою часть? Сам же солдатик долго и упорно молчал о причине появления синяка под глазом, но

впоследствии, он признался в том, что произошло. Потом, в течение месяца или двух, ординаторы со смехом пересказывали в лицах сцену, когда стоя перед ответственным офицером солдатик наконец признался:

- “А меня кот ударил!”

- “Как, кот – он бы тебе глаз выцарапал?”

- “А он без когтей, я держал его на руках, а он ка-а-а-ак размахнется, д-а-а как ударит кулаком...”

- “Постой кто - кулаком? Кот – кулаком?”

- “Ну да – кот! Он ка-а-к размахнется...”

О том, за что его ударил Васька, солдатик так и не рассказал.

Больные покидали клинику по-разному. Кому-то выпадала счастливая доля уходить после лечения и больше никогда не возвращаться, кто-то был вынужден становиться частым гостем, чтоб продлить годы или месяцы жизни, а кто-то покидал клинику вместе и со всем белым светом навсегда. Васька, обитавший на первом этаже, знал, что таких людей, еще пахнувших живыми, но уже не таких теплых, как они, вывозили на каталке через старую заднюю дверь, во двор, где их грузили в машину, почти такую же как и ту, на которой привозили больных в клинику, только гораздо более темного цвета – как старая пожухлая трава осенью, в старинном парке через дорогу, куда пробраться можно было только ночью, когда по дороге, разделявшей парк и клинику, переставали проноситься машины.

Виноградов теперь был частым гостем в клинике. Операция за операцией лишь оттягивали приближение последней черты, но все: и врачи, и сам Виноградов – продолжали бороться за его жизнь. Врачи – потому что таково призвание этих людей – выступать ходатаями перед высшими силами за жизнь человека, выполняя свои сложные многодневные ритуалы. Сам Виноградов боролся за жизнь, потому что научился радоваться каждому новому свету дня, порции пресной каши или просто успешному походу в туалет. Всего несколько лет назад он думал, что такие простые радости не стоят его внимания, что настоящая радость может быть только результатом чего-то по-настоящему большого, а обычные дни лишь пролистываются, не оставаясь в памяти, как когда-то в детстве, когда дни вели счет разграфленными страничками дневника. Эти графы с записями домашних заданий, отметками были чем-то ненастоящим. Настоящим был лишь день полной, своей собственной жизни, который остался за пределами строчек – в дневнике в каждой неделе было лишь шесть дней. Почти бесконечным праздником были каникулы, особенно летние. Казалось, что жизнь в деревне, за городом, и есть та самая настоящая жизнь. Жизнь со свежим утренним воздухом, пением птиц, запахом дерева, разогретого солнцем, шелестом листвы на ветру. Жизнь со взглядами вдаль, когда ты можешь перебираться взором от крыши старой часовенки к пышным шапкам сосен за речкой и далее по полоскам полей, вплоть до горизонта, пройдя который, можно было начать наслаждаться постоянной игрой рвущихся ветром облаков. Можно было лечь на спину и смотреть, смотреть, впитывать в себя и пронзительную лазурь высокого летнего неба и ослепительную белизну облаков.

Пролетело школьное время, казавшееся тогда столетием. Прошло время военного училища, когда жизнь текла лишь в увольнениях и во время отпусков, а после наступило время службы. Все время казалось, что настоящая жизнь вот-вот должна наступить: или после женитьбы и рождения сына, или после получения второго просвета на погонах, или после защиты диссертации и назначения на преподавательскую должность в училище. Однако, любое новое достижение вскоре – через месяц, два или через год, все равно становилось для Виноградова обыденностью. Однажды, уже уволившись в запас на шестом десятке, Виноградов с удивлением понял, что из всей прошедшей жизни его память удивительным образом согревают лишь совсем незначительные моменты. Это были такие мимолетные ощущения как тепло от серого в мелкую белую крапинку валуна, разогретого солнцем, на который удалось прилечь после марш броска, или вкус лесной земляники, которую надо было вложить в лиловый цветок колокольчика и так и съесть. Было и множество других приятных мелочей, при воспоминании о которых по телу разливалось тепло и становилось легко на душе. Другие же “настоящие” большие воспоминания – как ни странно были совершенно холодными, такими, как например, чьи-то чужие воспоминания, прочитанные в книге. Как странно все изменилось с годами...

Теперь же взгляду Виноградова был доступен лишь побеленный известкой потолок в палате, с разбегающимися в разные стороны как русла рек на карте местности трещинками, да край окна, где можно было, если повезет в хмурую петербургскую погоду, увидеть яркий кусочек неба. Опускать глаза ниже совсем не хотелось. Реальность мира ниже напоминала Виноградову том, что поезд его жизни, говоря языком военного железнодорожника, уже вскоре прибудет на свою конечную станцию, где состав, скорее всего, будет полностью расформирован.

Большую часть времени, если краешек неба в окне был сер от облачной мглы, Виноградов лежал с закрытыми глазами. Так, если смотреть сквозь опущенные веки на лампочку, можно было рассматривать движения маленьких темных точек, на красном фоне век – небольшое, а все же развлечение. Сил смотреть телевизор, или слушать радио уже не было. Каждый посторонний звук, каждое новое движение вокруг вызывало странный особый вид боли – не ту, что ощущаешь в теле и к которой уже привык – а где-то глубоко внутри головы.

Однажды Виноградов проснулся среди ночи от нового странного звука. Точнее, это был даже не звук, а что-то среднее между звуком и глубокой низкой вибрацией, которая была ощутима всем телом. Виноградов не спешил открывать глаза. Когда почти все его чувства выбрались из-под глухой пелены сна, он ощутил еще и какую-то тяжесть в области груди. Точнее даже не в груди, а на груди. Что-то увесистое прижимало его грудную клетку сверху и при этом очень приятно вибрировало. Виноградов решил открыть глаза. В палате никогда не было темно ночью. В осеннее и зимнее время ее освещали снаружи уличные фонари, а в весеннее или летнее время – акварельные краски светлых ночей. Открыв глаза, Виноградов увидел прямо перед собой два выпуклых больших блестящих глаза. Вслед за глазами из пелены сна постепенно проступили очертания широкой морды с пышными усами и округлыми ушками, одно из которых просвечивало насквозь острым треугольным клинышком – словно метка на ухе у породистой коровы. Так и есть – на груди Виноградова лежал, аккуратно подобрав под себя лапки, большой рыжий кот с

зелеными глазищами. Увидев, что Виноградов открыл глаза, кот прикрыл свои, но не до конца – а так, чтобы от них остались две раскосые щелочки, и продолжил мурчать как ни в чем не бывало. Хотя Виноградов и был уже достаточно слаб, но тяжесть кота не показалась ему обременительной, а даже наоборот, приятной. Такой приятной, как это бывало в детстве, когда тебя накрывали в детстве тяжелым стеганым одеялом и ты умиротворенно проваливался в сон под его ватной тяжестью. Кот спокойно возлежал на редких невысоких волнах дыхания Виноградова и словно не обращал на него никакого внимания. Тяжесть и тепло от тельца кота было совершенно новым приятным ощущением. И уж тем более новым ощущением были глубокие вибрации мурчания. Они были настолько сильны, что вскоре поглотили все чувства Виноградова. Вскоре он, следуя их ритму, забылся глубоким сном, больше не просыпаясь до самого утра, что было в последнее время совсем необычным делом. С утра Виноградов почувствовал в теле непривычную легкость, почти как раньше, когда он был еще здоров и ночной сон приносил желанное полное обновление.

Через пару ночей дежурная сестра заметила, что Васька по ночам поднимается на второй этаж и спит на груди у больного Виноградова. Несколько дней ночные походы Васьки оставались неизвестными для врачей. Но однажды дежурный врач, заглянув ночью в палату, увидел кота на груди у больного. Врач хотел было снять кота, но рыжий зверек словно прирос к телу Виноградова – такой неподъемной тяжестью он показался для врача. Начальник отделения, которому было доложено о ночном визитере, рассудил, что в данной ситуации, учитывая жизненный прогноз Виноградова, не стоит воспрепятствовать визитам кота, тем более что кот посещает его только ночью – и то на непродолжительное время и, по словам врача, положительно влияет на эмоциональный настрой больного.

Интересно, почему кот выбрал его в друзья? Виноградов задумался. Он никогда не увлекался кошками. В детстве ему всегда больше хотелось завести собаку, которой, впрочем, у него так никогда и не было. Кошки – они всегда представлялись либо живыми мягкими игрушками для девочек, либо абсолютно недоступными для общения самостоятельными существами, живущими рядом с человеком своей особой параллельной жизнью.

Чем же он угодил этому коту? Все что он мог дать ему – лишь немного почесать его за ухом или под челюстью да погладить по голове. Ясно, что такие ласки кот мог получить от кого угодно, если он вообще нуждался в них. Общение? Трудно было назвать это общением. Было видно, что кот все время остается самим по себе, что мысли его находятся где-то глубоко внутри или, скорее всего, где-то совсем далеко. Даже в те ночи, когда мучительные спазмы сжимали живот изнутри, и кот, словно чувствуя боль Виноградова издалека, прибегал и устраивался делать массаж передними лапами через тонкое одеяло, отчего его когти слегка касались кожи живота, невозможно было сказать, что невидимая дистанция между ним и котом исчезала. Нет, все так же, кот был совершенно отстранен, и даже иногда мог оттолкнуть его руку когтистой лапой, когда Виноградов пытался его погладить.

Но однажды в их отношениях что-то изменилось. В то утро, когда Виноградов открыл глаза, он впервые увидел своего кота при свете дня. Кот лежал на его груди, и, казалось, не думал уходить. Когда он увидел, что человек открыл глаза, кот отрывисто муркнул, и, потянувшись головой к лицу Виноградова, старательно его обнюхал. Виноградов погладил кота по голове. Кот довольно заурчал и, привстав, стал сильно тереться мордой о лицо человека. После он встал, сложился дугой, потянулся, затем размял одну заднюю лапу, потом другую и, тяжело ступая по одеялу, перешел в ноги больного, где и устроился, подобрав под себя лапы.

- “Ну, ты и наглец, Васька” – изумилась постовая сестра, зайдя в палату, - “А ну брысь отсюда! Вот врач увидит – тебе задаст, да и мне тоже” – она подтолкнула кота с кровати. Васька от толчка спрыгнул с кровати, но не ушел, а забрался в дальний угол, под тумбочку. Но, как только сестра ушла, кот выбрался из своего укрытия, и забрался на грудь Виноградова и стал довольно урчать. Позже пришел врач, посмотрел на больного, покачал головой, глядя на кота, но сгонять его не стал.

Виноградов опустил кисть руки на спину животному. Ладонь и пальцы погрузились в густой, очень приятный на ощупь, шелковистый мех. Он стал тихонько, лишь одним указательным пальцем поглаживать кота вдоль спины. Кот довольно замурчал, а после неожиданно повернулся на бок, и, обхватив руку Виноградова передними лапами, стал ее тихонько покусывать. Больно не было. Когтей кот не выпускал, лишь прижимая кожу руки мягкими теплыми подушечками своих лап. Вдоволь наигравшись с рукой, кот развернулся спиной к больному, и стал пошевеливать хвостом, так что кончик пушистого хвоста задевал Виноградову кончик носа. Неожиданно в его памяти всплыло размытое воспоминание из далекого – далекого детства, когда мать играла с ним, лежащим в кровати, щекоча кончик носа, щеки и ушки чем-то пушистым, похожим на меховую кисточку.

От этого воспоминания стало очень тепло и хорошо на душе. Перед глазами стали проходить другие сцены из жизни, которое становились все ярче и явнее, как будто Виноградов и в самом деле переживал их заново. Что-то было особенно приятное, за кое-что другое становилось невыносимо стыдно. Вспомнив несколько особенно трогательных моментов, Виноградов почувствовал, что из углов его глаз потекли вниз маленькие капельки влаги, щекоча сухую кожу на скулах. Через мгновение он ощутил, что плотный шершавый язычок старательно вылизывает его слезы. Виноградов сделал над собой усилие, поднял обе руки и прижал к себе кота – сильно-сильно, насколько позволяли его ослабевшие руки, как в детстве ребенок прижимается к матери или к любимой мягкой игрушке, чтобы выразить всю глубину охвативших его чувств.

Кот вылежал некоторое время в объятиях, а после, пятясь назад, выбрался из тесных объятий и спрыгнул с кровати на пол.

“Ну вот, ушел мой дружок”, - только и успел подумать Виноградов, прежде чем ощутил, что кто-то стягивает с него одеяло. Он повернул голову. Кот встал на задние лапы, и

выпустив когти, зацепив край пододеяльника, тянул его на себя. Потом он запустил лапу под одеяло и стал, мяукая, поддевать ногу старика когтями, словно выцарапывая его из-под одеяла.

- Ты что, дурашек, хочешь, чтобы я встал? – спросил Виноградов у кота. – Слаб я уже, иди, гуляй сам.

Однако кот продолжал мяукать, то возвращаясь к постели больного, то отходя в сторону двери и оглядываясь, словно проверяя, идет ли человек за ним. Неожиданно старик ощутил, что привычная тяжесть и ватность тела стала исчезать. Он осторожно поднял одну руку перед собой, еще выше – Ого! – получилось! Поднял вторую руку – обе руки взмыли над головой, как раньше, когда он в молодости потягивался с утра в кровати. Виноградов подтянул к себе ноги и неожиданно понял, что может самостоятельно присесть в кровати. – Это было так здорово! Он ощупал себя руками – казалось, что мышцы вновь обрели прежнюю силу, конечно, не такую как в молодости, но, кажется вполне достаточную для того, чтобы спустить ноги с кровати. Виноградов осторожно, помогая себе руками, спустил одну ногу вниз, затем вторую.

Кот, довольно урча, тут же подошел к нему и стал тереться о его ноги, захватывая их крючком своего вытянутого вверх хвоста. Было видно, что он радуется успехам своего друга.

- Ты думаешь, я смогу встать? – обратился Виноградов к Ваське, хотя и сам уже был уверен, что сможет не только встать, но и даже пройти – как минимум до двери в палате, а там уж - как повезет.

Кот вновь направился к двери, оглядываясь на человека. Старик опустил ноги в тапочки, которые уже давно стояли без дела под кроватью, и встал на ноги. Стою! И смогу идти! – Он был уверен в этом. Надо одеться... Он взял с вешалки госпитальный халат, накинул его на себя и подпоясался кушаком. Вперед! Виноградов осторожно сделал несколько шагов к двери. Его не шатало, и ноги слушались его вполне уверенно. А о болях в животе он уже и думать забыл.

Маленькими шажками он подошел к двери, осторожно приоткрыл ее. Кот сразу выскользнул наружу. За дверью текла обычная госпитальная жизнь: сестра беседовала с врачом у поста; сновали туда-сюда курсанты; кого-то везли на процедуры в кресле-каталке.

“Как здорово!” – подумалось Виноградову, - “я могу ходить! Представляете, ходить! Сам!” Он открыл дверь и сделал шаг в коридор клиники. Потом другой, третий – а после считать шаги уже не было смысла, он смог уверенно шагать по коридору. Боже, какая это радость! Какое тихое наслаждение – ходить! Так может быть... Может и в туалет удастся сходить как раньше?

Однако в туалет он не пошел, хотя и был уверен, что все у него получится естественным образом. Кот вновь потерся о его ноги и пошел вперед – мимо поста – к центральному

вестибюлю клиники, все время оглядываясь, проверяя, идет ли человек за ним. Виноградов нерешительно шагнул вслед за ним – все-таки впереди пост – что скажет сестра? Но, как ни странно, сестра взглянула на него совершенно равнодушно, так, словно он не был уже почти месяц лежачим больным, а был обычным ходячим, гуляющим себе преспокойно по коридору. Может быть, взглянула она даже излишне равнодушно – как бы вскользь него. Но какая тебе разница, если ты можешь вновь ходить сам, как на тебя смотрит постовая сестра.

Толкнув стеклянную дверь в вестибюль, где стоял крашенный бронзовой краской памятник, Виноградов пропустил вперед кота. Тот, гордо задрал хвост, прошествовал вперед и свернул налево, мимо кабинета помощника начальника клиники к лестнице, ведущий вниз на первый этаж.

Удастся или нет спуститься вниз по лестнице, Виноградов уже не сомневался. Для страховки он, правда, придерживался за широченные перила парадной лестницы. Внизу, в центральном вестибюле кот, встав на задние лапы, стал старательно царапать дубовую дверь тамбура, ведущего к двери на улицу.

Это уже было слишком! Больным выход на улицу был строго-настрого запрещен. Виноградов подошел к двери и взял кота на руки. Кот замурчал еще в воздухе, пока старик поднимал его на вытянутых руках. Когда Васька устроился на плече, Виноградов хотел было повернуться и отнести его обратно. Однако... что значит для человека пролежавшего месяц в палате выйти на свежий воздух, на улицу, тем более, что там, за стенами уже, кажется, наступила весна. Виноградов огляделся по сторонам. Никто на него не смотрел. Бабка-гардеробщица, судя по звукам, смотрела телевизор в своем закутке, а на бельведере второго этажа никого видно не было. Эх, была – не была! Старик потянул ручку двери на себя, и массивная дверь поддалась его усилиям. Он открыл и входную дверь, и вышел на улицу. Кот, сидя на руках, стал усиленно втягивать носом воздух. Действительно, после больничных запахов было к чему принюхаться: весна уже вступила в свои права, и молодая зелень дарила городу пьянящий радостный аромат. Особенно хороши были огромные старые липы в парке через дорогу. А, семь бед – один ответ! Подобрав полы халата, Виноградов покрепче прижал к себе кота, дождался, когда поток машин на Боткинской улице спадет, и быстрым, насколько это возможно, шагом перешел улицу. По счастью, калитка в парк была открыта. Виноградов проскользнул в нее, прошел мимо будки с собакой, которая не преминула обдать их с котом заливистым лаем. Васька, впрочем, даже ухом не повел. Пройдя немного вперед, Виноградов опустил кота на свежую траву газона. Кот деловито обнюхал все травинки в округе, и стал деловито грызть какой-то стебелек.

Виноградов поднял голову. Как он соскучился по этому вечному виду: огромная масса свежей листвы, шумящая под легким весенним ветерком и высокое чистое голубое небо. Как же мало надо для настоящего счастья!

Они пошли вдоль главной аллеи парка. Слева, в небольшом пруду бил фонтан, справа, в глубине парка виднелся старинный бронзовый памятник. Навстречу то и дело попадались спешащие курсанты и степенно шествующие военные врачи. Казалось, никто не был

удивлен видом гуляющего больного с котом. В самом деле, если человек может выгуливать свою собаку, то почему бы ему не выгулять своего кота.

Виноградов никогда не был в этих местах. Там – за парком – должны были быть еще клиники академии, а за ними – набережная Невы. Ему нестерпимо захотелось посмотреть на большую воду. Кот по-прежнему шел с ним рядом, как собака на прогулке. Вот Васька! Поплутав немного во дворах клиник, Виноградов обнаружил, что выйти на набережную можно лишь пройдя одну из клиник насквозь, мимо приемного отделения. Он поднял кота с земли, распахнул халат и спрятал его у себя за пазухой. Поднявшись на несколько ступенек вверх, он быстро прошел через вестибюль клиники и, спустившись по широкой мраморной лестнице, распахнул дубовые двери и оказался на набережной.

Он ожидал увидеть поток машин на набережной, тянущийся от Литейного моста к гостинице “Санкт Петербург”, но к своему удивлению не обнаружил ни моста, ни самой гранитной набережной, ни, тем более машин. Погода также сменилась – небо заволкло тучами, и поднялся ветер. К удивлению старика, вместо набережной, вдоль все клиники шел длинный бревенчатый пирс, у которого чуть поодаль стоял небольшой парусник. На том месте, где должна была быть гостиница, шумели неевские волны. Не было видно ни крейсера Авроры, ни Нахимовского училища, ни купола Исаакиевского собора. Только шпиль Петропавловской крепости одиноко вздымался вдали.

- Что, милой, заплутал? – впервые за все время его приключения с котом кто-то обратился к Виноградову. Внизу, из-за края пирса выглядывал мужичок, и улыбался, глядя на него. Виноградов подошел к краю. На воде, в небольшой лодке стоял осанистый мужичок в одежде, похожей на больничный халат Виноградова, но, почему-то, в лаптях.

- Что, милой, заплутал? – еще раз повторил мужичок – Так ты не пужайся, спускайся ко мне – я тебя на тот берег перевезу. Мне уж не впервой – сколько при морской гошпитале при перевозе служу.

- Да зачем мне на тот берег-то? – спросил его Виноградов. - Да и не один я – а с котом. Вот он у меня.

Виноградов почему то подумал, что очень важно показать мужичку в лодке кота. Он распахнул ворот и выпустил зверя на бревенчатый помост. Васька вначале изогнул спину, потянулся, размявшись, и вдруг, взурчав, прыгнул прямо в лодку. Мужичок погладил кота.

- Вот, видишь, кот твой уже здесь, так и ты давай не зевай – спускайся, а я тебе руку подам.

Да уж, каким бы странным ни было все происходящее, сегодняшний день показал, что интуиции кота определенно можно было доверять. С помощью мужичка Виноградов устроился в лодке на корме. Кот расположился рядом. Старик положил на кота сверху руку – на Неве волнение - как бы ни улетел кот за борт.

Кто бы мог подумать, что с воды Нева покажется такой широкой. Мужичок все греб и греб, пересекая реку наискосок – таким сильным было течение. Ближе к тому берегу лодка попала в туман. Туман был такой густой, что морская гошпиталь совершенно скрылась из виду.

- Ну вот, теперь уже скоро, - произнес мужичок, которому, видно, были известны одному ему ведомые приметы. И действительно, туман вскоре расступился, и совсем неподалеку показался залитый солнцем берег. Удивительно, как быстро меняется на Неве погода. Впрочем, приглядевшись, Виноградов понял, что тот берег принадлежит вовсе не Неве. Это был берег той старой реки из детства, где на небольшом кособоре стоял дом его бабушки, где он проводил самые счастливые месяцы в детстве. Кот приподнялся, прыгнул на дно лодки и, проскочив под ногами гребца, устроился на ее носу.

- А ну, приглядиись, милой – произнес мужичок, не оборачиваясь – Поди, уже встречают тебя.

Уже не задумываясь о том, как мужичок мог об этом знать, Виноградов привстал и приложил руку ко лбу, закрывая глаза от яркого солнечного света. Его сердце забилось часто-часто: с берега приветственно махала рукой его любимая бабушка, рядом стоял улыбающийся дед и еще много-много людей, которых Виноградов не смог бы назвать по именам, но определенно знал, что это были не чужие ему люди...

На отделении, где лежал Виноградов, было непривычно тихо. Дверь в его палату была открыта. Около койки Виноградова стояли его лечащий врач и начальник отделения и ординаторы, а сестры сгрудились у двери.

Врач аккуратно отвел в сторону одну еще мягкую руку Виноградова, затем другую, и осторожно приподнял с его груди вверх безвольно обмякшее рыжее пушистое тельце. Он поднес мордочку кота к уху, словно еще раз хотел проверить, не будет ли слышно дыхание. Обернувшись, он секунду-другую помедлил, не зная, что делать дальше. Затем он решительно шагнул ко второй, свободной койке в палате и, уложив Ваську поверх одеяла, накрыл его белым вафельным полотенцем.

Рассказ «Наваждение».

Трудно сказать, что заставило меня остановить машину у поросшего лесом холма, на перекрестии дорог. Как обычно бывает? Следишь взглядом за серой лентой асфальта, которую уплетает капот твоего автомобиля, оцениваешь траекторию встречных машин – пересекутся или нет? И только потом, на секунды удерживая увиденные по бокам дороги живописные виды, оцениваешь промелькнувший мимо тебя за голубоватым стеклом с разводами дорожной грязи и кляксами неосмотрительных насекомых мир.

На этот раз все было иначе. Холм я заметил издалека. Такие холмы-курганы на нашей равнине – вещь не частая. Говорят, что большинство из них, особенно те, что имеют пирамидальную форму, легко угадываемую за бурной порослью, являются древними могильниками викингов. Но... дело совершенно не в этом. Просто... просто, еще на подъезде к холму я почувствовал, что воздух вокруг стал теплее и мягче. Не таким жестким, как он бывает, когда ты въезжаешь в город и не таким безвкусно безразличным, когда ты летишь по трассе, пролистывая километры пути. Что-то стало мягко и ненавязчиво подталкивать меня вправо, к краю дороги. Я убрал ногу с педали газа и стал потихоньку придавливать широкую ребристую поверхность педали тормоза, словно еще рассуждая, а стоит ли останавливаться? Хотя ответ мне уже был известен. В глубине своих мыслей... Точнее - глубже своих мыслей. Там - в темной глубокой воде, покрытой прозрачным, но очень толстым льдом, через который никогда не могут осознанно пробраться мои дневные мысли, уже родилось решение. Я чувствовал его присутствие, осознавал его влияние на меня, но, клянусь, не мог объяснить, зачем и почему оно ведет меня. Но я не стал сопротивляться, а просто принял его как данность. В конце концов, моя интуиция уже не раз меня здорово выручала.

Под правыми колесами закрипели придорожные камушки, вдавливаемые раскосыми прямоугольниками резины вглубь щебеночной отсыпки. Сбавив ход, я медленно продвигался вдоль холма, разглядывая его. Среди листвы проступили блестящие белесые вертикальные полосы, красные кляксы и гирлянды красно-бело-желтых пятен. Конечно! Это сельское кладбище. Где ж его еще устраивать, как не на древней могиле норманна? От перекрестка к холму вела грунтовая дорожка, и я, выкрутив руль почти до предела, скатился с широкой асфальтовой реки на узкий песчаный ручеек. Не доезжая пары десятков метров до холма, я остановил автомобиль и выключил двигатель. Закрыв окна. Немного посидел молча и, отщелкнув ручку, открыл дверь.

Удивительно как меняется окружающий мир, стоит лишь покинуть свою привычную стальную капсулу на колесах. Возникает ощущение, что когда ты предстаешь перед природой лишь самим собой, своим телом, своими чувствами и мыслями – окружающий мир начинает знакомиться с тобой. Вот, среди полного безветрия, вдруг протянул легкий ветерок, словно кто-то втянул в гигантские ноздри твой запах. Пролетела пичужка – блеснула бусинкой глаза. Что-то зашуршало в кустах... Я обошел машину, прошел несколько шагов и остановился.

Еще одно дуновение ветра облетело меня, и я увидел, как где-то вверху зеленой массы, покрывающей холм, зашелестели ветви огромного дерева. Раздвигая ветви кустарника и осиновою поросль своим огромным кряжистым стволом, к нему возносил свои резные ветви старый дуб. Сколько же ему лет? Ствол больше метра в поперечнике – может быть и двести, а может быть и все триста. Удивительно – мир скользит мимо него своими

страстями и суетой вот уже несколько столетий, а его дело – знай - закладывай почки, да гони новые ветви к солнцу, созерцая круговороты жизни... или ощущая их... интересно, чем дуб может ощущать?

Я потихоньку пошел по направлению к дубу. Из-за изгиба дороги слева вдали проглянула деревенька – покосившиеся заборы, серо-темные крыши и пугливые собаки. Людей не было видно, но это и к лучшему. Справа же, из-за крон деревьев показалась верхушка церкви красного кирпича. На вершине ее с почти сгнившей круглой деревянной луковкой высился, хотя и изрядно покосившийся и погнутой, но все-таки несломленный крест. Пройдя еще немного, я обнаружил, что у моего дуба когда-то был и приятель, но повезло ему определенно меньше. От второго дуба остался лишь достаточно аккуратный пенёк.

Перебравшись через придорожную канаву, я, раздвигая ногами густую поросль крапивы, добрался до пня, который находился по левую руку от подножья холма. Сердцевина его была уже изрядно трухлявой, но по краям годовые кольца были весьма различимы. Я приложил руку к пню. Неожиданно мне пришла в голову идея подсчитать его возраст. Я замерил ладонями ширину ствола, а затем, приложив руку к самому краю, подсчитал, сколько же годовых колец помещается в одну мою ладонь. Вышло, что одна ладонь покрывает 30-35 годовых колец, а всего до центра ствола умещается с десятков ладоней. Значит, ему все-таки как минимум три сотни лет.

Похлопав по почерневшей поверхности пня, я двинулся к его живому собрату. Раздвигая ногами высокую траву – видно, что дуб не часто навещают, хотя к могилкам по склонам холма были протоптаны в траве вполне свежие тропки. Еще несколько шагов – и передо мной оказался ствол дерева, со складчатой - точно в старческих морщинах - корой. Осторожно ступая, я обошел его вокруг, осматривая поверхность ствола.

– Ты ведь верно помнишь все, что здесь было? – я обратился к дубу в голос, словно он был одушевленным созданием. – И кто тебя здесь сажал – наверно, помнишь? – я похлопал дуб ладонью по коре. – Вот хоть бы говорить ты выучился: рассказал бы мне... Я погладил ствол и плотно прижал ладонь к коре, словно стараясь услышать ответ, как если бы он зазвучал вдруг из глубины ствола. Но – ответа... Ответа, конечно, не последовало...

Я перевел взгляд на могильные памятники. Среди них были и простые бесхитростные пирамидки из стали с нахлобученными звездами, были и совсем старинные – аккуратно тесанные из хорошего камня с полустертymi надписями. Но кресты на большинстве из них были отбиты или сколоты. Подростком я часто ходил на кладбище, вглядывался в лица, запечатленные в эмалевых овалах, и пытался понять, как это возможно, что целая огромная, необъятная жизнь исчезает без следа и завершается так просто и прозаично – под могильной плитой со скупой надписью. Но с возрастом, хотя я так и не получил ответа на свой вопрос, как и большинство людей, я просто перестал думать о сути смерти. А по возможности и избегать любого напоминания о ней.

Да, надо идти! Прощаясь с деревом, я провел рукой по стволу и сделал шаг обратно – к дорожке. В следующее мгновение подошва моего ботинка скользнула по мшистому узловатому корню, и... я бы непременно растянулся посреди зарослей на влажной земле, если бы не полагая ветвь соседнего дерева. Она приняла тяжесть моего тела, спружинила и отбросила меня обратно к дубу. Чтобы удержаться на ногах, я ухватился руками за складки коры на стволе дерева.

Да! Хорошо бы я был, весь в грязи и траве! Я сделал долгий выдох, как бы сдувая напряженные меха внутри. Потом, нащупав ногой твердую почву – без корней, мха, камней и прочих опасностей, я собрался осторожно сделать шаг в сторону, как... Как вдруг я почувствовал под своими ладонями что-то странное. Мои ладони вибрировали. Я отнял руки от ствола и обтер их об джинсы. Обтоптал маленькую площадку в траве вокруг себя – на всякий случай, чтобы не упасть и протянул руки перед собой. Да – нет, все в порядке. Руки не дрожали. Я сложил ладони одна к другой – ничего нет - все прошло... или показалось. Пойду я.

Словно дуновение ветра пробежало по кроне дерева. Резные листья дрогнули, как если бы порыв ветра встрепенул их. Но ветра-то не было! Я оглянулся по сторонам – конечно, деревья стоят неподвижно. Почти полдень, и солнце еще греет. Я оперся о ствол дуба, чтобы перешагнуть через злополучный корень и ... Моя ладонь вновь ощутимо вибрировала. Не может быть! Я прижал к дереву другую ладонь, прижался щекой ... дуб как будто била мелкая дрожь, нет, не дрожь – мягкие теплые вибрации, очень приятные. Такие приятные, как бывает, когда попадаешь в объятия матери, с которой не виделся очень долго. Ты обнимаешь ее, прижимаешься к ней, и тепло - ее тепло обволакивает тебя; и тут же исчезают все невзгоды, все мысли, и ты твердо знаешь, что находишься в самом надежном убежище в мире, где вся материнская любовь готова обернуться на твою защиту.

Чудеса! – я окинул взглядом все дерево снизу вверх – до самой кроны. – Вот так дерево! Аккуратно ступая, он отошел от него подальше. – Удивительно. Что ж, здесь все деревья такие?

Я подошел к старой осине неподалеку, припал ладонями к ее коре. – Ничего. Я осторожно вернулся к древнему гиганту – и, едва коснулся его рукой, - вновь волны тепла стали растворять мои ладони.

Я не знал, что мне делать. Казалось, что я могу провести здесь, подле дуба, обняв его руками и прижавшись щекой ко стволу, целую вечность. А если кто меня увидит? Дуб растет у самой дороги. Но, внезапно все исчезло. Исчезло тепло, пропала мягкая вибрация. Он словно забыл про меня, и я почувствовал, что теперь мне, в самом деле, пора уходить.

Я преодолел коварные заросли крапивы и перепрыгнул через канаву. Дуб уже, казалось, совершенно меня не замечал – так неподвижно и величаво он нес свои ветви.

Однако, что-то совершенно явно изменилось во мне. Я не мог не то, чтобы описать произошедшее со мной словами, но и даже подобрать правильную мысль для объяснения возникших у меня совершенно новых эмоций. Однако, я совершенно четко ощущал, что жизнь моя теперь будет течь чуть-чуть иначе, чем если бы я просто проехал мимо это места.

Я сделал несколько шагов по направлению к своему автомобилю, но, вдруг остро почувствовал, что забыл сделать что-то очень важное. Я развернулся и, дойдя до канавы, вновь перепрыгнул через нее. Невзирая на грязь и крапиву, я опустился на колени и стал шарить руками по земле. Когда я нашел то, что искал, я встал на ноги и склонил голову перед дубом.

Теперь я, пожалуй, смог бы точно сказать, что чувствую. Внутри меня исчез маленький кусочек темной тянущей пустоты. Пусть всего один... Но, мне стало казаться, что я смогу

выбрать дорогу, которая поможет мне справиться и с другими. Я шел по грунтовке обратно к машине, а в ладони моей лежал налитый новой жизнью желудь.

Рассказ «Письмо»

Я не помню точно, что случилось в тот день. То ли я так и не дождался важного для меня телефонного звонка, то ли – наоборот – получил вовсе неожиданное и неприятное письмо, но так или иначе день был испорчен. Вы, конечно, знаете, как это бывает: сознание суживает поле зрения из огромной панорамы мира до маленького дверного глазка, в который вы все время видите только мучающий вас своей неприятностью предмет. Так было и в тот раз. Грязно-желтый конверт с красными печатными буквами заслонил собой весь мир. Я то ходил вокруг стола, где лежало письмо, то пытался уйти в спальню, что бы растянуться на перине и забыться. Но, уже через минуты три снова вскакивал и шел смотреть на злосчастный конверт, словно надеясь, что внутри не окажется того письма, что так встревожило меня. Поняв, что ни уснуть, ни даже полежать не удастся, я решил пройтись вокруг дома. Вероятно, в тот день была хорошая погода, и солнце светило достаточно ярко, и цветы благоухали как всегда, но я, вышагивая по мощеной дорожке, видел перед собой лишь грязно-желтый свет и ощущал лишь запах бумаги и почтового клея, который, как говорила моя тетушка, варят из костей старых кобыл.

После прогулки стало немного лучше: видимо тот адреналин, что готовил меня к бою с незримым и далеким противником, приславшим мне свое пренебрежительное письмо, немного израсходовался на ходьбу. Однако, после я совершил непростительную ошибку: желая отвлечь себя, я сварил себе кофе, взял недокуренную черешневую сигару и, чтобы вкусить свои небольшие радости, устроился в своем любимом кресле на открытой веранде. Боже! Каким отвратным показался мне кофе. Вместо чуть шоколадного оттенка стрекочущего нос кофейного аромата – я ощутил вкус жженой и вареной почтовой бумаги. Сигару я раскуривать уже не стал. Нет сомнений, что вместо черешневого аромата, мне представился бы запах сургуча!

Кофе был вылит на клумбу, а сигара раскатана пальцами на листочки и отправлена в качестве мульчи вслед за кофе.

В изнеможении я рухнул в кресло. Голову стянул если не железный, то уж точно деревянный хомут, мышцы шеи одеревенели, плечи сжались и, в конце концов, я почти принял позу, в которой безмятежно покоился еще до своего рождения лет так сорок назад. Эта небольшая и весьма приятная ассоциация позволила мне чуть-чуть расслабиться.

Письма! Неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом – содержание писем не меняется. Друзьям же писать письма теперь не принято. Электронная почта, мессенджеры, и социальные сети давно вытеснили бумагу и конверты из личной жизни. В самом деле, зачем тратить дни на получение ответа, если можно, быстренько настучав в белом окошке на экране сообщение – в тот же день, а то и час, или даже раньше, получить ответ. Скорость приносит много удобств, но она же и убивает что-то очень важное, что было в рукописном тексте. Возможность изменить написанное на экране, необязательность следования правилам орфографии и грамматики делает электронный текст каким-то ненастоящим, как и само общение посредством него. Ты выступаешь его

двумя пальцами, почти не думая, и получаешь точно такой же – не обдуманый, почти автоматический ответ, который ты собственно мог бы и сам написать себе – настолько все предсказуемо в онлайн общении. Сырые, невызревшие и чаще всего – заимствованные у кого-то мысли – перегоняются по каналам связи туда и обратно, не принося ничего дельного ни отправителю, ни получателю – хотя эти роли из прошлого уже не совсем уместны в Интернет-общении. Здесь эти роли постоянно меняются местами – почти как полюса в переменном токе.

Но и классические письма я не люблю. Письмо в официальном конверте чаще всего означает, что кто-то бесцеремонно вторгается в твой сегодняшний день и разрушает твои планы навязыванием своих собственных, от которых, ты чаще всего, не можешь ускользнуть. Один мой приятель, правда, нашел свой собственный способ защиты своего мира от чуждого вторжения в конвертах. Он просто отправляет вновь поступившие конверты прямым в мусорную корзину. Не распечатывая. Если кому-то очень что-то надо, считает он – то они позвонят и напомнят о себе. Остальные могут и подождать. В мусорной корзине. В конце концов это им что-то нужно, а не ему. Я так поступать не могу, и поэтому, как минимум пару раз в неделю, когда приносят почту – у меня портится настроение. Чаще всего, в письмах не содержится ничего по-настоящему плохого, но мое вечное ожидание, что плохая весть может раньше или позже все-таки застать меня врасплох, роняет мое настроение. Возможно, эти клерки просто умудряются наряду с бумажными листками упаковывать в конверты свою безмерную тоску от своей бессмысленно-бесконечно-сучной работы, а я, открыв конверт, просто вдыхаю этот отравленный безжизненностью воздух, присланный мне в конверте. Может быть обжигать письмо над свечей сразу, как надрезаешь конверт или окуривать его сигаретным дымом?

Я глубоко вздохнул и открыл письмо. М-м-м. Это вовсе не то, что я думал. Никто не собирается требовать с меня скорейшего погашения моих долгов или уплаты налогов. Тут дело в совсем другом:

Глубокоуважаемый тра-та та... пишет начальник почтового управления тра-та-та ... глубочайшие извинения... Так – по крайней мере, что-то новенькое! Письмо, которое было утрачено... Потом найдено... Но сильно повреждено... Без обратного адреса... Что за ерунда?

Так! Еще раз: письмо, на ваше имя, без обратного адреса... было потеряно... в почтовом фургоне... залито водой... Конверт порван, часть письма осталась. Считают своим долгом доставить его, так как оно может быть важным. Еще раз – извинения.

И что?

Я запустил руку внутрь конверта. Ага – вот оно. В пластиковом карманчике с зеленой сдвижной застежкой. Ха-ха! Они перестраховались, чтобы письмо еще раз не намокло! Видно, что почтовые служащие и сами себе не очень-то доверяют.

Но, честно говоря, их перестраховки были уже совершенно лишними. Конверт совершенно потерял свой вид. Он был измят, разорван в нескольких местах, а часть его – вместе с куском самого письма внутри была попросту оторвана. Оторвана так, как будто

кто-то вложил его в пасть собаки, а она зажав конверт зубами, долго болтала головой, вырывая его из рук хозяина. Я и сам так часто играл со своей хаски – давая собаке подражать старой рукавице или рукаву куртки. Но ведь я играл не с чужим конвертом! В довершении всего, после вымышленной игры с собакой, этот неизвестный кто-то положил мой конверт в лужу и старательно его вымочил там, так что весь конверт оказался в грязевых, масляных и чернильных разводах. Я аккуратно подрезал край конверта ножом и извлек остатки сложенного втрое листа бумаги. Когда я развернул его, получилось подобие снежинки, которую вырезают дети из листа бумаги. Только моя “снежинка” больше напоминала творение слишком авангардного художника. В довершении всего, конверт совершенно явно пытались помыть, что совершенно уничтожило остатки текста. Неизвестный мне корреспондент воспользовался самым древним способом письма – чернильной ручкой. Адрес же мой сохранился на конверте исключительно потому, что был напечатан на конверте на лазерном принтере. Интересное сочетание. Место, где должен был быть напечатан обратный адрес, представляло собой лишь замасленные обрывки бумаги.

Я взял лист израненный лист двумя пальцами и положил его поверх чистого листа писчей бумаги на столе. Картина получилась похожей на изучение старинной пиратской карты. Складки и разрывы бумаги превратились в дороги и реки, а вырванные куски с растрепанными волокнами по краям – в моря и горы. Чернильные разводы и остатки грязи придали моей карте совершенную достоверность. Осталось найти пиратскую отметку и разгадать, где же зарыт клад. Как и полагается в классическом авантюрном романе, часть слов из письма можно было угадать. Именно угадать, а не прочесть, так как на листе бумаги не осталось не одного целого слова. Да и сохранившиеся буквы изрядно пострадали. Я положил рядом еще один чистый лист бумаги и взял из стаканчика остро отточенный карандаш. С детства обожаю запах карандашных ребристых рубашек! Свежий аромат буковой древесины и вкусного лака. Строгость линий и четкость надписи. Карандаш в моем понимании является одним из самых совершенных и гармоничных предметов в нашем мире. Он способен рождать самые великолепные идеи и создавать наброски музыки или картин. В нем сокрыто столько возможностей! Чернила придают мысли вид законченности, а карандаш допускает ее развитие. А застывшая идея – это мертвая идея.

Итак, легким графитовым стежком я принялся переносить остатки графических знаков письма на чистый лист бумаги. Признаться, я чувствовал себя настоящим криминалистом. Вспомнив о научном подходе, я стал подсвечивать изувеченный лист бумаги косым светом от настольной лампы, чтобы следы от пера выделились оттенками теней. Но, к сожалению, письмо было написано мягким пером, может быть, даже золотым, и следов на бумаге почти не оставляло. Улов составил всего несколько намеков на недостающие буквы и слога. О словах речь даже и не шла. Видно, что автор не слишком сильно нажимал на бумагу – рука его просто летала над листом. Кто же мог так писать?

Я окинул взглядом свой лист со спасенными буквами, слогами и догадками слов. Вспомнилась фабула завязки романа “Дети капитана Гранта”. Но, к сожалению, в моем распоряжении была версия письма только на одном языке. Точнее – на его обрывках... Я

долго пытался найти закономерности и достроить недостающие фрагменты текста, но все было тщетно. Столько вариантов слов можно пристроить к оставшимся окончаниям... Я отложил свой лист и взял в руки обрывки настоящего письма. Я пытался разглядывать его на просвет, тер бумагу между пальцами и, даже, пытался уловить остатки запахов бумаги. С четверть часа я пытался извлечь из письма хоть какую-нибудь дополнительную подсказку – но все было тщетно.

Я вновь заварил кофе и налил его в чашечку. Потянулся к сигарному ящичку, но – вот незадача! – задел чашку краешком тяжелого рукава моего домашнего халата... Этого неосторожного было достаточно, чтобы чашечка костяного фарфора лишилась опоры и расплескала свое содержимое аккуратно на лежавшее рядом письмо. Я быстро схватил его, согнул и наклонил остатки листа, сливая кофе обратно в чашку. Помогая силе земного тяготения, я стал сдвигать коричневую жидкость, как вдруг...

Я вспомнил, как, когда-то, давным-давно, сидя на соломенной подстилке на склоне холма, у края ржаного поля, я держал в руках стальную крышку от термоса и дул... От моего дуновения поверхность ароматного чая, набравшего в себя непередаваемые нотки запаха натуральной пробки шла замечательными круговыми волнами. Я быстро менял руки – перекладывая горячую крышку из одной руки в другую, а рядом звучал замечательный золотистый смех. Ее лицо – я не мог увидеть ее лица – лишь контуры локонов ее волос: кипящий золотом диск солнца слепил меня. Я вспомнил шелест трав и отдаленный гул прибоя. Я вспомнил шелк ее платья и шелковистость ее губ.

Замечтавшись, я сделал еще одно неосторожное движение – и чашка была сметена на пол. Сухой треск, разлетающиеся осколки и грязное пятно с мелкими крапинками на выбеленных временем дубовых половицах.

Зачем? Зачем тогда я наговорил ей столько глупостей. Про то, что я не могу взять на себя ответственность. Про то, что не хочу дурить ей зря голову. Про... Больше мы не встречались. На звонки мои она не отвечала. А вскоре оказалась, что она уехала. Куда-то далеко... Боже, каким же я был идиотом.

Письмо! Это письмо... Я уже не секунды не сомневался, кто мог быть автором этого странного письма. Я не мог объяснить своей уверенности. Если бы меня спросили, то я бы не смог привести ни одного вразумительного доказательства. Но я точно знал. Это была уверенность на уровне чувств. Самая настоящая и крепкая уверенность, которая только может быть. И теперь, я знал, что было написано на этом клочке бумаги. Я не мог бы прочитать ни слога, ни слова или предложения. Но я читал. Я видел, как перо ее ручки скользит, едва касаясь бумаги. Я видел, как она откидывает рукой мешающую прядь волос. Я видел, как блестят ее глаза, как мечутся ее губы, словно она хочет, чтобы бумага запомнила звучание каждого слова, которое ей предназначено сохранить.

Я бросился в подвал, где были сложены остатки моей прошлой жизни. Я срывал крышку за крышкой со старых коробок из-под обуви в поисках одной старой записной книжки. В конце концов, я нашел ее – в потрепанном кожаном переплете, с логотипом сигарет в виде

верблюда. Поскольку я никогда не записывал телефоны по алфавиту, мне пришлось перелистать всю книжку, прежде чем я вспомнил, где был записан ее телефон. Это был титульный лист книги, которую я держал в руках, когда мы познакомились. Да! Конечно!

Все мое тело стало ватным и тяжелым, словно меня запихнули в тяжелый водолазный костюм. Руки мои плохо слушались меня... Палец то и дело нажимал не на ту клавишу телефона. Мне удалось набрать номер только с шестого или седьмого раза. Только бы она ответила! Я не был уверен, что наберусь смелости повторить попытку еще раз, если она не возьмет трубку. В конце концов – если уж суждено...

Прошла целая вечность, пока я смог заставить себя произнести то, что я хотел сказать, после того как в трубке мягко прозвучал ее голос. Я говорил много и долго, говорил все то, что должен был бы говорить ей все эти годы, если бы мы были вместе. Она слушала меня и слушала, и лишь в конце моего бесконечного монолога спросила, получил ли я ее письмо. После того, как я ответил, что письмо и подтолкнуло меня позвонить ей, она долго молчала. Я набрался смелости и выдохнув, пригласил ее выпить со мной кофе...

Осенний день не был столь теплым, но солнечный свет по-прежнему золотил листья клена, распроставшим свои ветви над террасой ресторанчика. Ее рука была в моей ладони, и я видел, что ее улыбка имеет все шансы расцвести на ее все также прекрасном лице, а глаза точно смогут лучиться волшебным светом, как и прежде. Прекрасный золотой осенний свет все сильнее и сильнее топил невидимую ледяную плотину, и вскоре, наши чувства хлынули навстречу друг другу, сметая невидимые глыбы уже несуществующего прошлого. Мы болтали обо всем на свете, но не это было важно для нас обоих. Слова лишь обрамляли наш ставший общим взгляд. Тот волшебный взгляд, когда непонятно, в чьих именно глазах он берет свое начало, а в чьих отражается. Взгляд, мир вокруг которого размывается, становясь неотчетливым, существующим где-то вонне нас. Взгляд, который моментально объединят нас. Объединяет до такой степени, что в один отдельный момент невозможно понять – я ли это смотрю на нее, или рассматриваю себя со стороны, глядя ее глазами.

Мы венчались в небольшой часовне, притаившейся между вековых сосен. Прошел медовый месяц, потом еще несколько, прежде чем я увидел, что улыбка ее стала почти полностью такой же, как была прежде. Без капелек недоверия и осторожности в уголках губ.

И лишь тогда, как-то целуя меня перед сном, она произнесла:

- Знаешь, я хочу тебе сказать, что я по-настоящему счастлива. И...какая теперь, в самом деле, разница...
- В чем разница, дорогая?
- Да так, не важно, милый. Я о том, что на самом деле было в том письме...

Рассказ «Забывтый сон».

«Жизнь кончена, а я так и не узнала, что к чему»

Фаина Раневская.

Его долго мучил один и тот же сон. Вы знаете, как это бывает: привяжется что-то ночью, и снится и снится раз от раза. Иногда картинки чуть меняются, но общая канва сна остается одной и той же. Неприятной. Или страшной. Добрые сны помногу не снятся.

Этот сон. Тесный и мрачный чердак. Старые стропила. Об их ершистые поверхности можно запросто занозить руку. Слой голубинового помета, превратившийся в затхлый мягкий ковер. И отблески далекого коричневатого света снаружи. Странного света, который струится ниоткуда и отовсюду.

Посреди сна, он каждый раз понимал, что больше оставаться в этом месте нельзя, надо уходить. Но лестницы вниз нигде не видно. Что же делать? Неуклюже разворачиваясь под тесным сводом, боковым зрением он заметил проблеск яркого белого света. Откуда-то снизу и сбоку. Слепящий белый свет, какой бывает на снежной равнине в погожий солнечный день. Надо продвигаться к свету. Но что это? Оказывается, путь наружу возможен лишь через узкий округлый лаз, за которым какой-то короткий тоннель. Похоже, что с крыши кто-то свесил огромный водосток, через который надо умудриться протиснуться кнаружи. Другого пути нет. Но дольше в этом неприятном месте оставаться нельзя. Надо выбираться.

Он вздрогнул и очнулся. Несколько взмахов век опухшими ресниц разогнали мутную дымку пелены забывтья. Это нельзя было назвать сном. Сон – приносит облегчение. Это же было лишь забывтье – никакого облегчения, только смена картин реальности на что-то другое, непонятно откуда берущееся. Он с трудом приподнял голову и осмотрелся. Свет постепенно обрисовывал контуры предметов в комнате. Кровать с высокими дубовыми спинками и шпалочками по углам. Чтобы уловить запахи - свет не нужен. Комната полна запахами. Из них приятный лишь один - запах старого дерева. Он напомнил ему сладковатый аромат бревен свежего сруба далекого дома из детства.

Из темноты проступили лица его близких ему людей. Искрящиеся алмазными искорками глаза дочерей. Матовые, как галечник глаза зятя. Он вновь попытался сказать им, что совершенно нет необходимости так переживать, но сил говорить уже почти не было. Теперь он был уже слишком слаб, чтобы сказать длинную фразу. Только прохрипел что-то невнятно. Мокрый клекот был аккомпанементом его попытке. Сердце с каждым ударом все хуже гнало кровь по сосудам, и все больше ее оставалось в легких. Дышать становилось все труднее и труднее. Он пошевелил пальцами правой руки, и постарался улыбнуться. Однако губы его уже плохо слушались – он уже почти перестал их чувствовать. Он опустил веки, дав им немного отдохнуть. Через некоторое время он вновь приоткрыл их. И вновь опустил. Так легче. Пальцами он нащупал руку дочери. Она закрыла кисть его руки двумя ладонями, бережно, как на ветру укрывают пламя свечи, готовое вот-вот погаснуть от одного лишь неосторожного вздоха.

Вдруг, ему показалось, что лиц вокруг него стало больше. Он даже не задумался – видит ли он их своими глазами – да и открыты ли они у него. Да и какая, в самом деле, уже разница? Он старался взглядеться новые лица, вспоминая, где же он мог видеть этих людей. Их глаза приветственно улыбались. Он силился узнать их и улыбнуться в ответ, но, естественно, ничего уже не могло выйти из этих попыток – силы были на исходе. Но он радовался, видя эти новые лица, радовался им как старым знакомым, пришедшим к нему из неизвестного далека. Может быть, просто, из его снов?

Вдали, где-то высоко наверху, зазвучала музыка. Вначале негромко, как будто очень и очень далеко. Как на хорах под сводами очень высокого собора, где невозможно различить высоты купола, который теряется в предрассветном сумраке. Хор голосов, невозможно было сказать каких, мужских или женских, но очень чистых и красивых.

Мягкая покачивающая мелодия начала подхватывать его тело, тихонько раскачивая его как на невидимом челне среди спокойных вод, мерно текущих меж огромных недвижных скал, покрытых мягким лесом и мхом, гасящим эхо.

Постепенно, в далекий хор стало вливаться все больше голосов, все торжественнее становилось пение. Ему показалось, что вокруг стало чуть светлее. Он попробовал приоткрыть глаза, чтобы посмотреть на окружавших его людей. Казалось, что чудесная небесная музыка исходит и от них, что каждый поет в этом удивительном хоре свою партию. Неожиданно, из хора выделился один тонкий совсем юный голос. Пел он удивительно чисто. От его пения на душе стало совсем легко и светло. Пришло успокоение души. Он и до этого не тревожился за себя – лишь за свою семью, родных,

оттого, что видел печаль расставания на их лицах. Сейчас же торжественное успокоение пришло к нему. К партии первого хора присоединился еще один. Голоса зазвучали ближе и громче. Их песнь была торжественна и строга. Затем стали вступать еще партии и еще. Показалось, что волны звука сделали его тело невесомым.

Взглянув вперед, он увидел залитую светом долину реки, каменный мост, поросший мхом, цветы на берегах и босоногих мальчишку с девчушкой, совсем маленьких, радостно махавшими ему руками, показывая куда-то в сторону.

Он повернул голову, следя за их жестами. На берегах подпруженной плотиной реки стоял красивый дом, весь увитый диким виноградом. Небольшие квадратные стеклышки в переплетах окон в голландском вкусе играли мириады солнечных зайчиков. Кованые флюгера-флаги развивались на шпилях. На воде рядом с домом, возле маленького острова с кряжистыми дубами стояла празднично убранная галера. Множество разноцветных флажков украшало ее. По чьей-то команде гребцы осушили весла, и маленькая мортирка дала залп. Комендор, с тлеющим фитилем в руке распрямылся и встал во весь свой огромный рост. Из-за его спины выглянула молодая красивая женщина и радостно стала махать рукой. Глаза их сияли и этим светом были залиты все окрестности. Радость, радость неожиданной встречи охватила все его тело, и он двинулся к ним...

Сквозь видение неожиданно грубо проступил коричневый полумрак его комнаты, и его собственное тело, лежавшее на кровати. С удивлением он заметил, что контуры его тела начинают расплываться, как акварельный рисунок, нечаянно политый водой.

Он почувствовал как течет время. Именно течет – медленно и тягуче, протекает сквозь пальцы. Сколько не старайся сжимать их – удержать струящийся поток – ничего не получалось. Течение все больше и больше захватывало его чувства и вдруг...он ощутил, что поток смывает его самого.

- Я ис..че..заю – удивленно прошептали его губы.

Тело больше не связывало его. Теперь он был свободен и мог полностью отдался торжественным звукам небесного хора. Почти невидимые руки подняли его и понесли высоко-высоко в небо, откуда исходил божественный свет, и лилась чарующая музыка сотен и тысяч приветствующих его голосов.

Где-то далеко колокола пробили четыре по полудни и еще четверть...

Он проснулся оттого, что почувствовал, что его положение в пространстве изменилось. Чувствовал он себя великолепно. Долгий и глубокий сон освежил его и вернул все силы. Он попытался открыть глаза, но они словно слиплись. Сквозь веки проникал тусклый красноватый свет. Что-то теплое приятно облегло его тело. Однако, вскоре он ощутил, что снаружи что-то стало довольно сильно сдавливать его ноги, а затем и тело. Он попытался оттолкнуть это неизвестное что-то ногой, но в ответ его тело сжало еще сильнее. Вскоре сжатия стали повторяться чаще и чаще. Еще через некоторое время сила их стала нарастать и они стали ритмичными. Он вновь попробовал открыть глаза, но ничего не смог увидеть – только тлеющую сквозь веки тьму с бордово-красноватым оттенком. Тусклый свет ниоткуда. Внезапно он понял, что не дышит. Дыхательных движений не было, и через рот и нос не поступало воздуха. Во рту был странный солоноватый привкус. Он прислушался к своим ощущениям – очень странно. Но удушья не ощущалось. Видимо, что-то еще снабжало его организм кислородом. Или... Может быть... Он уже умер? Что то защемило у него в груди слева. Сердце! Сердце его билось! Его ритмичную дробь он слышал совершенно явно. У мертвых сердце не бьется. Это факт.

Однако, был и еще один ритм – гораздо более сильный, поступающий откуда-то извне и отдающийся во всем его теле. Он всем телом ощущал резонирующую пульсацию, похожую на сдвоенные удары в огромный глухой барабан. Внезапно, после того как очередной прилив тяжести снаружи исчез, он услышал странный звук, как если бы где то излился небольшой поток воды. Одновременно изменились ощущения вовне. Словно мощная шелковая перина навалилась на него. Она плотно обжала все его тело и стала ритмично сокращаться, проталкивая его куда-то головой вперед. Он ощутил, что темя его вклинивается в какое-то отверстие. Мягкое по краям, но твердое внутри. Давление на его тело усилилось. Голова его все больше откидывалась назад и все глубже проникала в кольцо, которое оказалось началом плотного пульсирующего тоннеля. Руки его оказались сложенными на груди. Сила со всех сторон давила на его тело, нарастая в ритмичных сжатиях. Вот уже он оказался одним плечом в тоннеле, затем и другим. Шея его стала разгибаться, и голова стала откидываться назад. Внезапно он ощутил сквозь закрытые веки перед собой яркий свет. Такой, как бывает в солнечный день посреди снежной равнины. Он почувствовал, что тоннель, через который его словно выдавливало, разверзся, и волна холода обдала его темя. Еще через несколько сильных толчков его

голова покинула тоннель, и он ощутил как земное тяготение, столь непривычное для него, тянет голову вниз. Удерживать ее сил не было, и голова откинулась вниз. Тут же он ощутил чьи-то руки... Такие огромные руки, объёвшие его затылок. Он открыл глаза и тут же крепко зажмурил их, спасаясь от слепящего света. Со следующим толчком он ощутил холод верхней половиной тела. В следующий момент все тело его повернулось на бок и из мягкого тоннеля, освободились его плечи и руки. Еще несколько мгновений – и сопровождаемый небольшим теплым потоком он почувствовал себя на свободе. В следующий момент он сделал глубокий вдох и закричал. Он кричал, что было сил, во всю силу своих легких, но голос был не знаком ему. Это был не его голос. Точнее он был не таким, как он привык его слышать внутри себя. Гигантские теплые руки перенесли его по воздуху и уложили на что-то теплое и подвижное. Он вновь попытался открыть глаза, но яркий свет был непривычен для них. Спустя пару мгновений он смог рассмотреть сквозь щелочки между век окружавший его мир. Как ни странно, все оказалось перевернуто вверх ногами. Он увидел себя среди холмистой долины. Вокруг светило несколько солнц. И все их лучи сходились на его теле. Между солнц как облака покачивались овалы лиц, лбы которых были покрыты голубыми масками, а там где должны быть рты – покачивались овалы огромных глаз. Он на небесах? И тут безмолвный мир ожил звуками. С небес загрохотали голоса. Среди какофонии оглушающих звуков он разобрал чей-то голос: “Какая красивая девочка получилась!”.

Через десяток ударов сердца внутри его сознания всплыла мысль. Мысль, которая сложила вместе все странности его последних видений. Похоже, что он понял, что здесь к чему. Открыв рот, он сделал глубокий вдох и закричал во всю возможную силу своих новых и сильных, но еще совсем небольших легких.

Рассказ «Синтия»

Синтия была соседской полосатой кошкой. У нее была самая обычная усатая мордочка, полосатые лапы с белыми башмачками, белая грудка и хвост с восемью полосками. Она жила в доме у моей пожилой соседки миссис Джэмисон. Соседство наше было весьма относительным. Точнее было бы сказать, что ее дом располагался ближе других к моему - по другую сторону холма, на дороге к ближайшему городку. Миссис Джэмисон была одинока. Муж ее, служивший когда-то в муниципальной полиции, давно умер, а сын ее уехал в Лос-Анджелес, где, как говорили, стал неплохим художником, во всяком случае, полотна его попали и в музей Соломона Гугенхайма в Нью-Йорке и, даже, попадались иногда в галереях в Кармэле. Но, как это часто бывает, жизнь художника полностью захватила сына миссис Джэмисон, и, не смотря на то, что наши края лежат не так уж и далеко на север от города Ангелов, видались они очень редко. Синтия была еще маленьким котенком, когда сын Миссис Джэмисон проводила сына из дома окончательно, таким образом, на тот момент, о котором я веду речь, кошке уже было никак не меньше двадцати лет, что достаточно много. Во всяком случае, моему коту Эрвину, когда он ушел от нас, было около пятнадцати лет.

Синтия росла, радуя супругов Джэмисон, а потом и скрашивая дни вдовы Джэмисон. Сын приезжал домой изредка, в основном, чтобы познакомить сначала со своей женой, потом - через несколько лет - с детьми, а потом - когда его жена также скончалась от болезни сердца, каждые два-три года сын привозил на знакомство очередную молодую пассию. Ходили слухи, что с одной он умудрился завести еще несколько детей, но потом их отдали в приют при монастыре, потому что сам художник начал неудержимо пить, и воспитывать их дома не было никакой возможности.

Наблюдая как жизнь сына медленно, но верно летит под откос, миссис Джэмисон старела все быстрее и быстрее. Лицо ее некогда свежее и яркое, постепенно тускнело и сморщивалось до такой степени, что со временем стало напоминать печеное яблоко, хотя ей было всего-то немногим больше шестидесяти.

Раз в неделю, когда я ездил на своем грузовичке в супермаркет в наш городок, я навещал миссис Джэмисон, чтобы выслушать пересказ письма от ее сына, или, что бывало гораздо чаще, когда письма от сына не было, просто покивать головой в так ее сетованиям. В

каждый свой визит я обязательно захватывал несколько хороших кошачьих консервов для Синтии. Миссис Джэмисон даровала мне привилегию самому выкладывать корм для кошки в ее плошку. У Синтии таким образом уже выработался условный положительный рефлекс на урчание двигателя моего грузовичка, как у русской собаки Ивана Павлова. Когда я только подъезжал к дому миссис Джэмисон, кошка выбегала на патио перед домом, вытянув хвост трубой и громко мяуча. Я тряс консервой над головой, и Синтия подбегал ко мне, терлась спиной о ноги, а потом, играя, нападала на ту ногу, которая при шаге оказывалась впереди. Так, с кошкой, практически висящей на ноге, я и входил в дом.

После того, как Синтия уплетала первую вкусную порцию, она подходила к дивану, где мы с Миссис Джэмисон пили чай, и, мурча, запрыгивала мне на колени. Там она устраивалась спиной ко мне и начинала массировать мои колени своими передними лапами. При этом, она выпускала свои острые коготки и весьма чувствительно запускала их в мое тело. Спихнуть Синтию с колен я не мог, потому что, во-первых, кошка была достаточно пожилая, и крепость ее костей, как у врача, вызывала у меня сомнения. А во-вторых, я не хотел обидеть миссис Джэмисон непочтительным обращением с ее лучшей подругой.

За долгие годы одиночества Синтия стала основной собеседницей и confidentкой пожилой леди. Хотя кошка не говорила по-английски, для их бесед этого и не требовалось. Если настроение миссис Джэмисон было неважным, Синтия устраивалась рядом с ней, так чтобы старушка могла положить руку на ее голову. Синтия начинала мурчать под с такой силой, что мягкие вибрирующие волны входили в руку Миссис Джэмисон и, видимо, достигали ее мозга, вытесняя собой очаги тревожности, потому что нескольких минут хватало, чтобы изменить настроение пожилой леди самым кардинальным образом. Вечером, когда, бывало, бессонница пробовала одолеть своими протяжными и невеселыми мыслями, Синтия вспрыгивала на кровать миссис Джэмисон, и вытягивалась на постели рядом. Она так уютно устраивала свою усатую мордочку на лапках, так расслабленно вытягивала задние лапы и хвост, что сон начинал наполнять пожилую леди, лишь стоило ей взглянуть на свою кошку. Какие могут быть тревоги и волнения, когда рядом с тобой находится живое воплощения сущности расслабления и покоя. Кроме того, видимо Синтия умела испускать и сонные флюиды, в чем я лично сам имел возможность убедиться, когда засыпал в кресле в гостях у миссис Джэмисон, когда рядом безмятежно дремала Синтия.

Миссис Джэмисон рассказывала мне, что неоднократно Синтия приходила к ней во сне, точно так же как это было бы наяву. Когда я спрашивал Миссис Джэмисон в чем же состояло различие между дневным реальным миром и миром сновидения, старушка говорила, что, в общем-то, никакой разницы нет, за исключением того, что во сне никогда не увидишь ни солнца, ни луны, ни других источников света. Свет во сне рассеянный, как будто он исходит одновременно со всех сторон, из-за чего во сне никогда не увидишь теней.

Я читал, что в древнем Египте кошки почитались за священных животных - почти божественных, видимо из-за того, что считалось, что кошки проводят большую часть жизни во сне, путешествуя в Царство Мертвых. И действительно, Синтия, по словам миссис Джэмисон, спала никак не меньше двадцати часов в сутки. Кто знает, где она бродила все это время?

Миссис Джэмисон умерла по весне, когда окрестные поля уже вовсю зазеленели. Сын узнал о смерти матери слишком поздно, чтобы успеть на похороны. Похоронили ее на кладбище подле часовни в нашем ближайшем городке. Кроме священника, провожали ее несколько соседей из окрестных домов, одна вдова сослуживца ее мужа, я и Синтия. После того как на могилу был уложен последний пласт дерна, положен могильный камень, возложены цветы и все разошлись, я забрал Синтию с собой. Я привез кошку домой к Миссис Джэмисон, положил ей в плошку ее любимую еду и наполнил чашку свежей водой. Синтия даже не взглянула на корм, а забралась на привычное место на кровать, подобрала лапами под себя старую шаль Миссис Джэмисон и крепко зажмурила глаза.

На следующий день, когда я заехал, чтобы положить кошке корм, Синтия сидела в той же позе на том же самом месте. Я поменял засохший корм на свежий, и плеснул ей в чашку свежей воды.

На следующий день приехал сын-художник и я отдал ему ключи от материнского дома. Также я показал ему, где лежит корм для кошки. Однако, кошка, судя по всему, игнорировала еду. Только из чашки немного убавилось воды. Или, может быть, вода просто испарилась?

Через день художник пришел и поинтересовался, не видел ли я Синтии. По его словам, утром кошки не было на привычном месте, да и вообще в доме. Мы обошли вместе мой

дом и сад, но сделал я это лишь для того, чтобы успокоить художника - до нашего дома от усадьбы Джэмисонов было не менее трех миль. Вряд ли кошка проделала такой большой путь, да и зачем ей это.

Художник собрался уезжать через неделю. Перед отъездом он заехал ко мне попрощаться. Мы молча пожали друг другу руки, и художник отправился по дорожке к своему внедорожнику.

- Послушайте, - окликнул я его, когда он уже почти подошел к воротам, - а как же Синтия? Она так и не появилась?

Художник обернулся, перемялся с ноги на ногу, и зашагал обратно к моему дому.

- Синтия... Да, она вернулась. - Он помолчал немного. - Я нашел ее на могиле матери. Она лежала, свернувшись клубочком, на камне. Видно, она совсем по ней соскучилась.

- Так вы забрали ее с собой? - поинтересовался я. - Она поедет с вами? - Я сделал шаг вперед, чтобы пойти погладить Синтию на прощание.

Художник перехватил мою руку. - Не надо. Ее нет в машине. Я похоронил ее в саду за домом. Когда я нашел ее, она уже не дышала. Служитель сказал, что она провела на могиле пять последних дней. В одной позе. Никто ее не трогал, так что даже невозможно сказать, когда именно она умерла.

Он сжал мое предплечье, повернулся и зашагал обратно к воротам.

А я стоял и думал, что миссис Джэмисон, вероятно, очень довольна, что ее лучшая подруга не оставила ее одну, больше, чем на несколько дней... если они вообще расставались.